

Каждое утро она расстается с постелью чуть свет и, наскоро попив чаю, торопится к автобусу на Москву. Каждое утро, вынырнув уже в Москве из метро, она проходит мимо Чистых прудов, всякий раз удивляясь, как невозмутима, непорочна их гладь. И только там, за поверхностью воды, возникая из небытия — из рассеянных мелких листочков, из слабых морщинок, и являются они, эти лики булгаковские: Коровьев, Воланд, кот Фагот и сам Мастер. И сама она — Маргарита Успенская, учительница литературы одной из московских школ...

«Аннушка разлила масло, а у Берлиоза соскочила голова...»

Боже, как же завидно ей тем, кому до школы десять, пятнадцать минут ходьбы, ну от силы, может быть, полчаса, а она добирается ведь два с половиной. И так каждое утро. Долгие годы.

От чистых прудов ушла — к Чистым прудам и приехала. У них в Степановском, в ближнем их Подмосковье, прудов целый каскад. Раз, два, три... пять... ну да, целых пять... Они выкопаны ещё в эпоху князей и графов, роскошных дворянских усадеб. Теперь здесь больница, печально известный «раковый корпус», описанный Солженицыным. Именно он и съел мужа её — Михаила, этот «раковый корпус», где Миша сам был врачом...

Каскад в мощных, заматерелых елях. Самый верхний пруд, поспешая с окрестных полей, наливают вешние воды, снеговые — чистые, грязноватые — позже, когда земная поверхность отмякнет, начнёт сбрасывать с себя нечистоты: полиэтилен, остатки нефтепродуктов, всякую там агрохимию... С верхнего пруда вода падает ниже — во второй и, отстаиваясь, становится чище... Самым чистым прудом должен быть

пятый, где купались в июльские жары, теперь степановские купаются выше, в четвертом.

Пятый пруд настолько прозрачен, что видать все до камешка, русалочки водоросли — зелёные терема; его оккупировали те, что из «корпуса», этот пруд теперь ихний...

Маргарита Николаевна живёт в двухэтажном каменном доме окнами как раз на четвёртый. Редкими вечерами, когда ей удаётся приехать пораньше, она пристраивается с книжкой к окну, сидит тихой мышкой и порой так задумается, глядя на плоские тихие воды, на плоские зелёные чаши лилий, удивляясь, как это птички расхаживают по зелёной поверхности, почему-то не тонут, и не заметит, как книжка шлепнётся о пол...

Тут в доме, у четвёртого пруда, живут все такие же, как они с Михаилом (царство ему небесное), кто откуда: орловские, тульские, с Урала, Алтай, донбассовские. Те, что местные — коренные, проживают не здесь — в собственных домах, на отшибе...

Она не поднимает книжки, пусто смотрит прямо перед собой.

...Вот и жизнь пролетела. Четвёртый пруд — это их достижение, потолок. До Чистых прудов в Москве так ведь и не добрались. А птички, это скорее всего синички, расхаживают по водяным лилиям, по закругленному краешку. Из простого любопытства глянет какая-нибудь в аспидно-чёрную воду, окунет клюв и вверх его — пьёт...

Тот, ещё первый пруд был у них с Михаилом совсем не таким. Светлым, ромашковым, березнячковым. Где-то в молодости, в Голуни, что на Орловщине. И взялся-то он невесть откуда, скорее всего от речки — «старица», старое русло, Зуша затекала сюда только веснами и оставалась. «Старица» была как раз посередке, между Михайловой больничкой и ее — Ритиной школой. Там, на виду берегов, они и встречались, там он ее и поцеловал...

Об этой «старице» им написаны были стихи, он увёз их с собой в Орёл, куда его перевели в большую поликлинику фтизиатром — по лёгочным заболеваниям. И она перебралась туда к нему, и они поженились. И там, в Орле, у них был тоже свой пруд — второй в их совместной

жизни. И тоже чистый, тоже где-то в сторонке, за городом — в Корабликах, тепловатый, с твёрдым песчаным дном. Когда у них родился Серёжа, им потребовался земельный участок. Да не столько ради картошки, сколько сыну — для свежего воздуха — где поиграть. А земля — скипелась вся, камень сплошь. От лопаты руки у Миши покрывались кровавыми мозолями; когда на камень лёг чернозем, стало хоть что-то расти...

Всё тогда только и мечтали уехать в Москву, в Подмосковьё. И им надоело мотаться; колбасу, мясо возить в поездах... Получили двухкомнатную квартиру — и Михаил стал пропадать в Москве, в знаменитом Банном переулке, в обменном бюро по квартирам, где искал, как и все, своё счастье — свои «варианты». В конце концов стало ясно, что они — «чёрная кость», в Москву напрямую нельзя. Туда нельзя, сюда нельзя — всюду нельзя. И можно было, лишь изощрись, особым способом — по «лимиту»; иные из однокашников по институту жили уже кто в Пушкино, кто в Долгопрудном, в Лобне, Химках, а кто-то даже в Москве, «белая кость» сидела в самом министерстве. Вот что было, канальство, заманчиво. И, конечно, обидно...

— Главное, ты хоть из Курска, провинциал, — упрекала она супруга. — А я-то в Москве, в областном пединституте училась, мне в ней дорого все...

А потом и у них наклюнулся «вариантик». Правда, от Большой Москвы далековато: в Высоковске — городишке где-то за Клином. Но и это уже было что-то: в Подмосковьё возможны свои «варианты». И она с подмосковной пропиской тут же устроилась в свою эту московскую школу для детей с частичным расстройством двигательного аппарата. Короче, деньги нужны, и в этой школе платили больше на целую четверть ставки...

И жила она на птичьих правах у старых добрых знакомых на старом Арбате. И лишь наезжала домой в Высоковск — на выходные...

«Аннушка разлила масло, а у Берлиоза соскочила голова».

Поначалу Михаил был участковым врачом, пока не устроился врачом футбольной команды в соседнем Клину...

И там, в Высоковске, у них был свой пруд. И вообще, что такое Высоковск? Это всего-навсего пруд и фабричка на берегу. Остальное всё — к фабричке и для фабрички. В то время их ещё грели надежды. Он и помнится ей оттуда, никогда ведь не выглядел лучше! Загорелый, в отглаженных кремовых брючках, в кремоватой же тенниске, и шевелюра всюю, шевелюра, — сильный и молодой.

А в руках его весла, и он гонит лодку туда и обратно, туда и обратно. И это — праздник, на берегу пруда столько весёлого люда, и он скалит зубы в улыбке, а в душе её музыка, та самая — шестая симфония Чайковского, она звучит в ней по сию пору, когда вспоминается пруд тот и та лодка, и это вовсе не Клин, не музей в Клину Петра Ильича, не прекрасный концертный зал, где они вдвоём слушали эту совершенно прекрасную музыку. Всё это третий их, Высоковский пруд — доминанта!

А дальше — вот этот, четвёртый... и всё... а пятому не бывать...

И они перебрались сюда, к четвёртому пруду, поближе к Москве, в ближнее Подмосковье. Отсюда на работу можно было хоть ездить, и она уже не ночевала на старом Арбате, из милости и сострадания.

Но ту лодку, тот третий пруд и все, что предшествовало четвёртому, она помнит до мельчайших штрихов. Ах, как они катались на лодке в тот раз! — туда-сюда, и в следующий раз... и ещё... и ещё... «Чтобы продлить удовольствие, чтобы видеть его красивым и сильным», — уговаривала она себя. Ему было там хорошо, до сих пор она чувствует себя виноватой. Она любила его всегда, он был у неё единственный...

— Там же только одно место, — говорил он, не глядя в глаза ей. — Место врача-радиолога. А это изотопы всё-таки, облучение...

— Ты хочешь, чтобы я, жена твоя, спала на старом тюфяке, у двери всю свою жизнь? — опускала она палец в воду и чертила пальцем волну. — Чтобы я по-прежнему приезжала домой лишь на выходные, да?

— Я люблю тебя, Рита...

— Раковый корпус, да? Для таких, как тот писатель, что пошёл на эксперимент...

— Я горжусь тобой, Маргарита, я горжусь роскошью этих волос...

Она знала, он ревнует её, он всегда её ревновал — даже там, в Голуни, и особенно здесь, он просто с ума сходил вечерами, ночами, когда она не приезжала. И ей, как женщине, это, наверное, нравилось.

— Хорошо. Давай переедем. Только знай, дорогая, это делаю я не для себя — для тебя...

— Ты серьёзно? — отбирала она у него весло. — Ты — серьёзно?? Ну нет! Лучше буду уж ездить, лучше там ночевать.

— Ну нет! — теперь упорствовал он. — Я не хочу, чтобы ты пропадала сутками. Чтобы ты валялась где-то на тюфяке... Я хочу, чтобы ты, как люди, ездила каждый день на работу. Чтобы ты приезжала из дому к своим Чистым прудам, к своим теням булгаковским...

— Ну хорошо, — прикрывала она ему рот ладошкой. — Хорошо, я согласна...

И целовала его, целовала.

В первые годы своей жизни в Степановском они ещё купались в четвертом пруду, где и все. К пятому — с самой чистой водой даже и не спустились, чтобы не встретить знакомых из «корпуса». Он приходил с работы усталый, разбитый, сразу ложился в постель...

И когда заболел, из дому уже не выходил. И на этот — четвёртый пруд только смотрел — отсюда, из этого вот окна. И обследование, процедуры ему проводили уже другие врачи и друг его — тоже врач-радиолог.

Он не хотел, чтобы его видели таким — смертельно усталым, совсем стариком. Он не хотел, чтобы она на него смотрела. И он выходил из своей комнаты в сумерках, брал из рук у нее журнальчик и откладывал в сторону очередную новинку, которую проглотил ещё вчера. Он знал свои дни и часы и — спешил.

— Идём, — сказал он отважно.

И она знала — куда. По хвойному лесу они выбредали туда же — к четвёртому пруду. И он подолгу стоял у воды, а она об этом боялась даже подумать: он — прощался.

— Чистая, — сказал он не то ей, не то поверхности вод виновато, и даже в сумерках не смотрел ей в глаза.

И также по хвойному лесу, одной им известной тропинкой, они удалялись от Степановского, туда — за «раковый корпус», к Ильинскому, где была конеферма. Коней везли со всей страны, особенно, говорили, из Азии. А тут у них брали кровь, чтобы приготовить ту самую сыворотку, которой потчевали теперь и его. Бедные, бедные кони! Уже завтра к вечеру они не увидят ни солнца, ни каскада прудов, ни того — четвёртого пруда. До них уже завтра к вечеру не долетят ветры из Азии, а также и из Голуни...

До пятого пруда Михаил недотянул. Так и остался тут, на том берегу, у четвёртого пруда. Где и все орловские, тульские, с Алтая, донбассовские, а также и местные, коренные — степановские, но только и там, как и тут, на отшибе...

А Серёжа всё больше похож на отца — родной человек, их кровинка, кровинушка. Едва слышит шаги по лестнице, едва под балконом различит его говорок, она замирает. И мнёт сердце себе. Как голубя, берёт в руку и мнёт. А оно ведь не слушается и уже не летает. Отлетались и те синички, каких он привечал к окну: ставил водицы, клал в кормушку то сала, то когда и что было — конфет...

Теперь они — эти синички, да вон же они, — летают на пруд, к чистой воде. И ходят по плоской зелёной водяной чаше лилии, заглядывают в плоскую чёрную воду, под большой жёлтый цветок. Чего они ищут, кого? Или на воде — ещё от весны — осталось его изображение на небе, куда отлетела душа, и они его видят, и ждут от него чего-то, чего уж никто не ждёт...

А у Серёжи теперь мечта — вернуться туда, к их первому пруду, к берёзам, к ромашкам голунским. Боже, это теперь его розовая мечта. И всё, выходит, сначала?..

Маргарита Николаевна, встав, как обычно, чуть свет, долго смотрит в ещё тёмное окно, за окно — на лунный матово-пепельный пруд. «Он потерял часы, — вспомнился эпизод. — И сказал жуткую вещь: его время кончилось». Она собирает потрёпанный свой портфельчик. Оглядывает книжную полку, принимается нервно

шарить по полкам, нервно снимать с полки тома. «Книга — учебник жизни», «Самому прекрасному в себе я обязан книгам», — кто всё это наговорил? Горький?

А Сергей ещё спит. Спи, сынок, спи, родимое, светлое пятнышко!..

На цыпочках, чтобы половицей не скрипнуть, она проходит на кухню. Быстро-быстро готовит сразу всё, на весь день: завтрак, обед и ужин. Оставляет записку. Прикрыв дверь, беззвучно уходит.

И только на улице вздыхает свободнее и видит луну над собой. И тени подлунные, знобкие, сонно бредущие, как и она, к остановке. И первый автобус.

Она выходит из метро, как обычно. Сто сорок пять ступенек. Одно и то же, одно и то же. С ума сойти, два с половиной часа и ни минутой меньше. Утром и вечером, вечером — в обратную сторону. Вчера, сегодня и завтра — всю жизнь.

Она проходит мимо Чистых прудов. А тут птички почему-то не ходят по лилиям, тут вообще почему-то никто из птичек не ходит, их просто-напросто нет.

«Аннушка разлила масло...» Книги не сделали нас счастливее, нет. «...А у Берлиоза соскочила голова».

И Маргарита достаёт из своего портфельчика томик, том — томину, томище. Кладет на камень прямо у чистой прудовой воды. И уходит от них — не оглянувшись.

Ветер схватывает, вертит страницы. Кто-то из прохожих берёт один том, второй: «Михаил Алексеев», «Пётр Проскурин», «Василий Белов», «Валентин Распутин»... Кладёт всех обратно, забирает назад «Распутина»...

Резко звоня, мимо пролетает трамвай, пронося над Чистыми прудами, над своей головой всё то же: булгаковский сноп неискоренимых, непобедимых временем электрических брызг.